

■ ОБЗОРЫ, РЕЦЕНЗИИ, РЕФЕРАТЫ

ДИАЛОГИ С БОЛЬЮ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КАТАСТРОФЫ

**РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: ТРАВМА: ПУНКТЫ: СБОРНИК
СТАТЕЙ / СОСТ. С. УШАКИН И Е. ТРУБИНА. М.: НОВОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ, 2009. — 936 с.**

Наши слезы высыхают быстро, особенно если мы льем их над чужою бедой.

Марк Туллий Цицерон

Один замечательный человек сказал мне, что Постмодерн является самой большой травмой современности, культурным проектом с масштабными социальными последствиями, а деконструкция как практика постмодерного мировоззрения несет в себе постоянную угрозу травмирования. Рассмотрение современного мира в категориях глобальной катастрофы указывает на кардинальное изменение позиции социальной науки, самой оптики исследовательского видения. Пётр Штомпка говорит о невозможности более рассматривать социальные изменения как безусловное благо, последовательные шаги на пути неминуемого прогресса [2, с. 6]. Позитивистская перспектива сменяется более чуткой понимающей наукой, стремящейся познать свой объект, признающей за ним право обладания аутентичным курсом травмы.

Книга «Травма: пункты», опубликованная Новым литературным обозрением, представляет собой труд поистине энциклопедический по объему и тематической широте, глубоко раскрывающий аспекты сложной и трагической текстуры жизни человека страдающего. Издание включает шесть самостоятельных разделов, каждый из которых представляет собой корпус статей, объединенных единой темой, раскрывающей ту или иную сторону травма-процесса. Вступительная и заключительная статьи научных редакторов книги Елены Трубиной и Сергея Ушакина проясняют композиционные повороты книги, разматывающие словно клубок многослойную и порой противоречивую проблематику травмы.

Трагический опыт далеко не всегда становится травмой, одни события остаются в памяти как драматичные и памятные, другие же останавливают сам жизненный процесс, травма парализует естественный ход истории, меняет целый мир как отдельной личности, так

и целых групп. Для того чтобы событие приобрело в обществе статус катастрофы, трагедии общественного масштаба, необходимы усилия организованных сообществ, появление которых возможно лишь в условиях лояльности институциональной среды. Таким образом, событие имеет значительно меньше шансов обрести статус трагедии, если его жертвы разобщены в пространственном и социальном ключе и они не представляли собой институционального единства до произошедшего. Так, например, аномальная жара в Чикаго в 1995 г., унесшая более 700 жизней, не оставила в общественной памяти американцев какого-либо глубокого следа, в то время как ураган «Эндрю» (1992), нанесший экономике США значительный ущерб, а человеческие потери в результате него были минимальными, расценивался как катастрофа национального масштаба. Именно в этом ключе статья коллектива авторов Сюзан Ульберг, Пауля Харта и Селесты Бос «Длинная тень беды...» рассказывает о различиях в ресурсных возможностях разных групп, или «стихийных сообществ памяти», влиять на процесс социальной и политической проработки памяти, участвовать в ее публичной нарративизации, оказывать влияние на складывающийся дискурс катастрофы, который останется в общественной памяти этого и будущих поколений. Демаркационные линии разломов делят жизнь на до и после, порождая разрывы в понимании между людьми или поколениями, невозможность понять самого себя, стремление преодолеть травмирующий опыт и жить дальше.

Некоторые события оставляют незаживающие раны в общественной психологии, разрушая единство и непротиворечивость социальной ткани отдельного сообщества или целой нации. Такие события можно отнести к категории культурной травмы, которая в социологии определяется как процесс, проявляющийся в коллективном сознании членов сообщества через ощущение того, что они стали невольными участниками «ужасного» события, которое навсегда останется в памяти этой группы, безвозвратно изменяя ее будущую идентичность [3, р. 1]. Память поколений, не являвшихся непосредственными свидетелями событий катастрофы, или постпамять, является важнейшей частью их культурной идентичности. В феномене вторичного свидетельства, о котором пишет Елена Трубина («Феномен вторичного свидетельства»), отражается необходимость осмысления человеком своей связи с историей, выражения своего отношения к ушедшим катастрофам и страх их повторения. Сложность подобного вторичного свидетельства заключается в необходимости осуществлять «работу памяти» в условиях многократного, в том числе и художественного, воплощения травматического опыта, предшествующего новому свидетельству. Так, новое поколение не всегда согласно с интерпретацией событий устоявшегося нарратива культурной травмы, предлагая новые формы ее осмысления и видения.

Иная ситуация, когда возможность говорить о травме получает поколение «детей» — в связи со сменой политического режима, репрессивного любые формы говорения о случившемся, — как это происходит с этнической группой калмыков, подвергшихся депортации в советское время (Эльза-Баир Гучинова «Текст депортации и травмы...»). В статье Гучиновой представлены три поколения калмыков: первое, непосредственно участвующее в трагических событиях депортации, второе — поколение детей спецпереселенцев, третье же составляли внуки ссыльных. Автор описывает то, как незнание родного языка новым поколением приводит к драматическому разрыву преемственности отцов и детей, а создание совместного нарратива истории произошедшего обладает терапевтическим потенциалом восстановления разрушенного единства. Однако метафора «забытого» языка как нельзя лучше подходит и к приводимой в статье ситуации художественного воплощения опыта отцов в противоречивом романе Арта Спигельмана «Маус: рассказ выжившего» («Феномен вторичного свидетельства»). Сын пытается рассказать историю отца такой, какой он ее видит, что вскрывает глубинные противоречия и непонимание между двумя поколениями. Новое поколение как бы лишается возможности говорить на языке «отцов», теряет связь с прошлым в ее глубинном смысловом аспекте, однако в произведении Спигельмана это не звучит как «привычный упрек в бесчувственности» поколения «детей», но как «констатация невозможности понять случившееся самими выжившими».

Сергей Ушакин во вступительной статье «Нам этой болью дышать...» определяет травму как разлом, как невозможность связать воедино три экзистенциально значимых опыта: опыт пережитого, опыт осмысленного и опыт высказанного. Неотъемлемым симптомом травмы является остановка речи — невозможность высказать, описать словами травматический опыт; исцелению же и преодолению этого кризиса будет способствовать складывание особой ситуации говорения, своеобразного терапевтического контекста, лояльного к травма-нарративу. Иногда ситуация невозможности говорить разрешается в неожиданном ключе, история обретает форму танца («Словами и телом...» Елена Рождественская), экспрессивный язык тела замещает в привычном понимании рассказ о травме: мы видим, как Лина — героиня Рождественской — в пластике и жестах переживает и преодолевает свою боль, усталость и отчаяние. Так и писатель Гайдар в статье Марии Литовской «Оружие и амуницию держать в полном порядке...» показан как нарративное продолжение внутренней войны Голикова, а его произведения обретают значение персонального терапевтического времени, слова кодируют следы травмы, замещая ее прямое описание метафорой художественного текста.

Однако окружение не всегда является располагающим и благоприятным, особенно это касается событий общественного масштаба, затрагивающих большие группы людей, ставших его жертвами. Вступая на территорию социального интереса, нарратив травмы попадает в разряд идеологических текстов. Не получая возможности свободного выражения, аутентичный и стихийный травма-нарратив может быть искусственно заменен на более удобную и безопасную клишированную версию события. Так, в упоминавшейся статье «Длинная тень беды...» авторы делают акцент на том, что государство, по сути, является одним из игроков на символическом поле «после катастрофы», наравне с другими борющимися за установление той или иной версии случившегося. Таким образом, чем более расходятся интересы сообщества, определяющего произошедшую трагедию, и государства, ликвидирующего ее последствия, тем более вероятна политизация данного дискурса и стремление государства взять его под свой автономный контроль.

Эта тема несколько иначе раскрывается в статье Сергея Мирного «Чернобыль как инфотравма». Автор заключает, что, попадая в экономическую и символическую зависимость от устоявшегося дискурса катастрофы, ее участники-жертвы не получают спасительной возможности выйти за пределы травма-процесса. Становясь необходимым элементом воспроизведения сценария трагедии, они становятся ее заложниками и усиливают негативные последствия случившегося. Так, возможности жертв теракта в Театральном центре на Дубровке сделать нарративное признание масштаба произошедшего были ограничены в силу политической уязвимости ситуации (Ким Лейн Шеппели «Двойной счет...»). Описывая зал суда как потенциально значимую площадку публичного говорения и выстраивания объективной — в силу характера самой юстиции — и честной картины произошедшего в процессе рассмотрения дела, автор пишет о печальной тенденции — разрешать подобные вопросы в досудебном порядке, когда вопрос о компенсации решается до его открытого обсуждения в зале суда. Признавая важность материальной компенсации, в редких случаях позволяющую пострадавшим или их семьям начать новую жизнь, Шеппели обращает внимание читателя на нереализованную возможность получить моральную компенсацию в виде признания ценности неотъемлемых прав человека, декларируемых современными либеральными демократиями — права на жизнь, достоинство и свободу, что ставит под сомнение не столько эффективность этой системы, сколько ее ориентированность на человека.

Исключая человека из политического, а значит и публичного дискурса о наиболее значимом для него опыте — событии, разделившем

жизнь на до и после, система оставляет его один на один со своей болью, загнанного в угол страданиями и страхами. Однако и в этой ситуации находятся стратегии преодоления, когда внутри жестких формальных ограничений самими жертвами конструируются смысловые лакуны, малые жизненные миры, закрепленные в практиках памяти и коллективной скорби. В статье «Вместо утраты...» Сергей Ушакин показывает, как в ситуации полной финансовой, политической и информационной изоляции группа «матерей погибших в армии в мирное время» обращается к ресурсам коллективного действия, создавая целостное сообщество, внутри которого вокализируется травматический опыт утраты. Сообщество, конституирующее свою идентичность и удерживающее свои символические границы за счет репрезентации своей утраты, составляет «социально, географически и дискурсивно изолированную» публичную сферу, замкнутость которой позволяет разделяемым всеми эмоциям свободно циркулировать внутри зоны комфорта. Выход за пределы этой жестко артикулированной зоны угрожает не только символической целостности сообщества, но и его физическому существованию и деятельности. Для людей, у которых «нет родины» [4, р. 2], построение негативной идентичности, целостности вокруг травмы и утраты, является единственным выходом, основным мотивом единства. Единство боли позволяет подобной негативной идентичности органично вписаться в культурный ландшафт постсоветской жизни, заменяя некогда единое общество локальными и глобальными сообществами утраты.

Политический дискурс, ограничивающий возможности воплощать пережитый опыт травмы в нарративах, не всегда проявляется в виде директив государства, запрещающих ту или иную нарративную практику. Под влиянием политических событий могут меняться сами условия репрезентации. Эрик Сантнер («По ту сторону принципа наслаждения») выражает обоснованные опасения по поводу стремительного сокращения символического пространства «неясного» вокруг осмысления феномена нацизма. Замкнутый на дискурсе «Окончательного решения» в условиях бесконфликтного и быстрого объединения постсоциалистической Германии он в значительной мере ограничивает доступ к ресурсам морального, политического и психологического преодоления культурной травмы нацизма.

Зачастую дискурс травмы в современном мире становится объектом манипуляций, а уязвимость посткатастрофического сознания для идеологических призывов к борьбе создает благоприятный фон для проведения агрессивной политики. Трагедия, произошедшая в США 11 сентября 2001 года, стала символическим ядром целой политической операции, переросшей в ожесточенную, крайне затянувшуюся и

неэффективную войну (Гайатри Чакраворти Спивак «Террор: речь после 9-11»). Локализованный в формации судебного дела и предельно расширенный до категории войны с террором политический дискурс после 9-11 не способен дать разумного объяснения последовавшим за трагедией событиям. Феноменологический опыт травмы был разобран на газетные цитаты, фотографии, призывы политиков, произошедшая музеификация события постепенно вытеснила его за рамки живого процесса политики и памяти.

Стремление общества предать забвению трагедию, вернуться к ритму нормальной жизни зачастую вытесняет тех, кто «не в силах забыть» за пределы самой жизни. Экзистенциальная катастрофа, символическая смерть и крушение целого мира отдельного человека заставляет его осмысленно покинуть территорию «выживших». Самоубийство как единственный доступный способ разрешения конфликта между травматическим опытом и необходимостью жить дальше выражен в историях трех разных людей, рассказанных ими самими на страницах статьи Светланы Алексиевич «Время Second Hand...». Эти истории показывают не только невозможность забыть или вытеснить произошедшее из памяти, но и сознательное нежелание и отказ от подобного действия. В данном случае рассказ о трагическом событии выступает как попытка выразить истину — непризнанную, забытую или непринятую обществом. Подобно ветерану вьетнамской войны, отказавшемуся принимать лекарства от мучающих его кошмаров, потому что он «должен оставаться памятником погибшим друзьям» (Кэти Карут «Травма, время и история»), люди, пережившие катастрофу войны, лагерной жизни являются носителями истории, в полной мере им не принадлежащей. Жертвы Холокоста рассматривают свои воспоминания как свидетельство трагедии и напоминание о бесчеловечности нацизма [5, р. 243]. Эта история — как бремя, нависшее над головой человека, трагедия которую нельзя забыть — чтобы не дать забыть другим, и невозможно помнить — так как память не даст жить дальше.

Одиночество человека, пережившего травму, как нельзя лучше показано в советских фильмах 50-х годов XX века о Великой Отечественной войне (Елена Барабан «Война в кино»). Являясь нетипичными для советского кинодискурса войны как отрадного страдания и смерти за отечество, героизма советской армии и всего народа, фильмы Сергея Бондарчука, Андрея Тарковского, Николая Губенко и Элема Климова сосредотачивают свое внимание на судьбе отдельного «маленького» человека. Барабан говорит о важности такого кино в связи с вопросами, которые поднимают режиссеры: о «соотнесении внутреннего мира отдельного человека с «большой» историей», о

возможности индивидуальной травмы вписаться в героический метанарратив истории о войне, стать необходимой частью ландшафта военной памяти.

Несколько в ином ключе предстает кинематографическая реальность и ее субъект в работе Кажи Сильверман «Историческая травма...». Следуя лакановской психоаналитической традиции, автор определяет кинематографический текст через его способность удовлетворить «зрительское желание реальности», но лишь в том случае, когда фильм принадлежит к «привилегированному способу репрезентации» этой реальности. Данный способ репрезентации — часть так называемого «господствующего вымысла», потеря веры в который может привести к потере веры в фаллос и «кризису мужской субъективности». Отметим, что классическое кино обеспечивает эту субъективность на многих уровнях, начиная от поставки «отцовских репрезентаций» до означивания самого зрительского взгляда: например, Лаура Малви в статье «Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф» [1] рассматривает женщину, демонстрируемую в качестве сексуального объекта. Она выступает в роли лейтмотива всего эротического зрелища, удерживая на себе взгляд, разыгрывает и означает мужское желание. Женщина функционирует одновременно на двух уровнях, в качестве эротического объекта для персонажей экранной истории и для зрителей в зале. Исходя из модели гетероориентированного влечения, характерного для классического американского кино, обладателем взгляда и в том и в другом случае выступает мужчина. Ситуация непротиворечивого функционирования систем господствующего вымысла нарушается лишь историей, вторгающейся в этот идиллический мир, «разрывая ткань вымысла» она осуществляет акт символической кастрации, лишая мужчину его субъективности. Именно история, представленная в работе как травматождество, способна перевернуть устойчивый мир «установленных систем репрезентаций». Так, последствия исторической травмы позволили неожиданно инверсировать «визуальный режим классического кино» в нескольких голливудских фильмах 1940-х годов.

Противоречия, возникающие на обломках истории после травмы, в жизни отдельного человека или целой нации настолько многообразны, что их трудно описать и на девятистах страницах одной книги. Это книга для вдумчивого неторопливого изучения, и хотя читается она «взахлёб», к ней нужно возвращаться еще и еще, ведь в ней сталкиваются порой противоположные точки зрения, разворачиваются серьезные дискуссии. Впечатляет разнообразие представленных жизненных контекстов в тех темах, к которым обращаются авторы. Книга знакомит читателя с общими положениями теории травмы, представленной

с позиций различных акторов процесса, а разнообразие методологических подходов и ракурсов позволяет увидеть проблему во всем многообразии ее смысловых нюансов.

В книге представлены психоаналитические, антропологические, социологические и лингвистические разработки по теории травмы, дается детальное описание механизмов ее функционирования как на индивидуальном, так и на групповом уровнях. Теория травмы предстает как универсальный многослойный теоретический конструкт, чрезвычайно важный в условиях современного мира. Большое внимание уделяется раскрытию особенностей неотъемлемых элементов травмы, таких как природа и психология жертвы, связь «пострадавших» с общественными массами и институтами, память о травме, конкуренция дискурсов трагедии и идеологическая манипуляция ими. При этом о травме не повествуется как о замкнутом пространстве катастрофы: авторы обращаются к возможным путям выхода из сложившейся ситуации, концентрируясь на примерах создания благоприятного терапевтического контекста, пытаясь разработать универсальные сценарии преодоления.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Малви Л.* Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф // Антология гендерной теории. Минск: Пропилеи, 2000. С. 280-297.
2. *Штомпка П.* Социальное изменение как травма // Социологические исследования. 2001. № 1. С. 6-16.
3. *Alexander J.* Toward a theory of cultural trauma // Cultural trauma and collective identity / Ed. by J. Alexander, R. Eyerman, B. Giesen, N. Smelser. Berkeley, California: University of California Press, 2004. P. 1-30.
4. *Oushakine S.* The patriotism of despair: Nation, war, and loss in Russia. Ithaca: Cornell University Press, 2009.
5. *Trauma and memory: Clinical and legal controversies* / Ed. by P. Applebaum, L. Uyehara, M. Elin. Oxford: Oxford University Press, Incorporated, 1997.

Т.А. Разумовская

аспирант Государственного университета - Высшая школа экономики,
сотрудник Центра социальной политики и гендерных исследований